

Едва ли не первый ремонт, который я помню и в котором участвовал, – это покраска крыши в Тиму. Дом, в котором прошли отцовские детство и юность, а потом часть моих собственных детства и юности, стоял в центре поселка, на вершине холма, вознесенного над степною речушкой Тим. Вообще, эти места к востоку от Курска являются высшей точкой Среднерусской возвышенности; мало где я встречал столь же вольные виды, как те, что открыты с тимского холма – и тем более с крыши отцовского дома. Сам поселок – его кровли из жести и шифера, проймы улиц, сады и заборы, труба котельной у бани – все это сверху казалось игрушечно-маленьким; но зато бескрайними, уходящими в сизо-туманную даль, были желтые волны полей, разделенные полосами лесопосадок и лентами чернотемных дорог.

Наш дом, как рассказывали, был построен еще до революции купцами-коннозаводчиками – то есть возраст его приближался к столетнему, а его стены (об этом бабушка говорила с особенной гордостью) были набраны из обожженного дуба. Но вот кровля была слабовата. Листовое железо ржавело, крыша грозила вот-вот потечь – и нам с отцом надо было хотя бы покрыть ее свежей краской.

Хорошо помню тот гроыхающий звук прогибавшейся жести, с каким я, подросток двенадцати лет, осторожно прошел по скату кровли. Этот звук вос-

кресил во мне самое первое, еще младенческое, воспоминание: как меня купали в жестяном корыте, дно которого вот точно так же хлопало и прогибалось под моими переступающими ногами. Поэтому, переступая по гроыхающей крыше, я себя чувствовал одновременно младенцем – и взрослым, которому поручили серьезное дело. Такого объемного, младенчески-взрослого состояния я доселе еще не испытывал – как не испытывал и такого же острого, тоже объемного, ощущения полноты окружающей жизни. С крыши я видел почти весь поселок – он лежал внизу как на ладони – и чувствовал, как нераздельно-единым потоком течет подо мной поселковая жизнь, такая понятно-знакомая – и в то же время такая таинственно-непостижимая.

Прежде чем красить крышу, надо было ободрать с листов жести старую краску и счистить ржавчину. Этой однообразной и нудной работой мы с отцом занимались почти целый день: сидя на корточках, шаркая проволочными щетками по железу и в кровь сбивая костяшки пальцев о ребра вальцевой кровли. Что там пальцы – если даже проволочные щетки истирались за полтора-два часа и уже не визжали, срывая шелуху старой краски и оставляя на жести штрихи свежих царапин, а глухо стучали в железо облысевшую деревянной основой.

Но чем хороша вот такая работа, немудреная и монотонная, – так это возможностью и подумать

о чем-то своем, и поглазеть на то, что происходит вокруг. Удивительно, но почти все, что я видел и слышал в тот день, было связано тоже с ремонтом. То ли действовал принцип «рыбак рыбака видит издалека» – и я, ремонтируя крышу, замечал вокруг только то, что касалось починки, подправки, покраски, – то ли действительно поселковая жизнь представляла собой бесконечный ремонт.

Вот в соседнем дворе завизжала пила, а потом застучал молоток, и свежий сосновый горбыль закрыл в заборе дыру, через которую так любили шнырять к нам соседские куры. Вот, через улицу, расчищают забитую сором канаву для стока воды: а то после дождей там во весь тротуар разливается лужа. А вон там, ближе к сберкассе, красят наличники окон: ярко-синие, они так непривычны на постаревшем фасаде, что отчего-то становится грустно – так бывает, когда на стареющем женском лице видишь броскую, алого цвета, губную помаду...

И куда ни помотришь – везде метут сор или чинят калитку, освежают побелку на стенах, поправляют желоба водостоков, выбивают ковры, заливают раствором отмостки, чистят трубы печей или заклеивают пробитые камеры велосипедов. Даже местный похмельный пропойца, встретив знакомую, обратился к ней с просьбой, касавшейся, в сущности, тоже ремонта:

– Мать, одолжи рубль – мне поправиться надо...

«Так значит, – подумал я, шаркая щеткой по крыше, – и вся жизнь Тима есть один непрерывный ремонт? Люди здесь только и заняты тем, что пытаются что-то исправить, подделать, почистить, привести в божеский вид, подлатать, укрепить и заштопать...» Тогда, видя Тим сверху, я как-то физически ощутил напряжение и усилие жизни, удерживающей саму же себя от распада, – усилие, частью которого был и наш с отцом ремонт крыши.

То, что не только жизнь небольшого райцентра, но и жизнь всей страны представляла собой бесконечный ремонт, я понял достаточно скоро. На что ни взгляни – в квартире и доме, на улице, в школе, – всюду были видны следы тех усилий, которыми люди пытаются как-то исправить, «подремонтировать» жизнь. Сеть домов быта и мастерских по починке одежды, обуви или бытовой техники была раскинута по всей стране; а где мастеров не хватало – там предлагалось вести ремонт собственными силами. Рубрики «Сделай сам» или «Домашнему мастеру на заметку» размещались во всех популярных журналах – и, таким образом, ремонт возводился чуть ли не в ранг государственной идеологии.

Что можно вспомнить? Ну вот, к примеру, хоть то, как я носил в починку часы. Ближайший от нас часовой мастер работал на Маяковке (тогда это была окраина города), в небольшой комнатухе с окошком, к которому приходилось склоняться, выражая тем самым и уважение мастеру, и просьбу о том, чтобы он посмотрел переставшие тикать часы.

– Что там у вас? – говорил часовщик недовольно, как будто его оторвали от куда более важного дела, чем починка часов. – Ну, давайте посмотрим...

Он брал твои наручные часы, выдергивал из них ремешок, затем, покрутив часы в пальцах, хватал со стола пинцет и в несколько быстрых движений отвинчивал крышку. Потом часовщик, все такой же насупленно-хмурый, вставлял в глаз монокль и начинал осмотр сложно сцепленного клубка из мелких зубчатых колес. Мастер заглядывал внутрь обнаженного механизма, словно в прорубь или колодец, где недавно жило и двигалось время – но теперь оно то ли заснуло, то ли сбежало из опустевшего, свитого из шестеренок, гнезда?

– Вы что, их роняли? – возмущенно и грозно спрашивал часовщик.

Я сокрушенно кивал: да, ронял... Горько вздохнув – мол, что за люди: ломают и портят все, что попало к ним в руки! – мастер, шурясь от напряжения, тонким шильцем старался во что-то попасть внутри сложно-ажурного переплетения шестеренок. Может быть, он хотел уколоть само задремавшее время – чтоб оно пробудилось и вновь задрожало-задвигалось в недрах оживших часов? И вот, наконец, он нанес точный укол – пружина часов задышала, спадаясь и вновь расширяясь – а следом поспешно задвигались все шестеренки. Их дрожь была мелкой и суетливой: они словно спешили догнать, наверстать, отработать все то, что проспали...

Там, в камерке часовщика, я впервые почувствовал некий зуд времени: то неутолимое беспокойство, которое и является его, времени, сутью. На полках мастерской часов стояло много, крышки многих из них были сняты, и можно было увидеть, как внутри этих всех механизмов вибрирует – словно чешется – время. Казалось, внутри часов живут сотни мелких, сверкающих блох, которые гложут-кусают все то, что им попадается, – и вот-вот готовы прыгнуть и на тебя самого. И ты, расплатившись, скорей выходил из укромного логова часовщика, вынося вместе с починенными часами ощущение времени как некой порчи или болезни, которой подвержен весь мир, которая гложет его и терзает – и от которой пока не придумано средства спасения...

Вообще, сапожное ремесло, при всей его прозаичности, мне представляется полным поэзии. Ведь обувь – важнейший посредник меж нами и нашими жизненными путями. Именно обувная подметка несет нас на себе – пока, разумеется, нас держат ноги, – именно обувь хранит нас от терний, какими усыпаны наши дороги.

А ремонт обуви? До сих пор памятен вкусный запах обувной мастерской – запах, в котором смешались кожа и дратва, вакса и клей, вар и сапожные гвозди, блестящие в круглой коробочке, словно икра. Не тревога, как у часовщика – а, напротив, покой опускался на душу, когда ты входил в мир сапожного мастера, где пустые колодки торчали, как головы птиц, где на полках стояли десятки ботинок и туфель – и на каждой подошве был мелом надписан их номер, где ножи из автомобильных рессор резали кожу, как масло, и где стол был забросан гвоздями, обрывками дратвы и черной стружкой каблучных набоек.

И, в отличие от угрюмого часовщика, обувной мастер почти всегда бывал добродушен и весел – точнее, он часто был навеселе. Ибо куда же деваться от того архетипа, который вошел в поговорку: пьян, дескать, словно сапожник?

И работал обувной мастер с какой-то особенной, ласковой легкостью. Всегда было приятно смотреть, как он, зажав гвозди губами и мыча мотив какой-нибудь песенки, поочередно, с упругим пристуком, вколачивал эти гвозди в подметку, и по ее заскорузлomu краю тянулся пунктир серебристо

мерцающих шляпок. А как он продергивал дратву сквозь туго скрипящую кожу – так, что из дратвы выдавливалась слеза густого сапожного вара?

А как виртуозно менялись набойки на каблучках женских туфель? Вот старая, стоптанная набойка скovyрнута пяткой ножа, вот, в один точный удар, приколочена новая – и вот уже контур набойки обрзан, заподлицо с каблучком, тем же самым острейшим рессорным ножом.

Вообще, сапожное ремесло, при всей его прозаичности, мне представляется полным поэзии. Ведь обувь – важнейший посредник меж нами и нашими жизненными путями. Именно обувная подметка несет нас на себе – пока, разумеется, нас держат ноги, – именно обувь хранит нас от терний, какими усыпаны наши дороги. С самой первой младенческой обуви (которая и называется очень по-детски: пинетки) и до тех тапочек, в которых мы с вами когда-нибудь будем лежать под басы панихиды – какое великое множество обуви переживает на наших ногах!

Вот сандалии детства. Ремешки их оборваны, задники стоптаны; но с каким наслаждением ты, бывало, совал свои детские стопы внутрь горячих, нагретых на солнце сандалий – и бежал прочь от дома, на выгон, на речку, туда, где тебя ожидала огромная и еще непочатая жизнь. Сандалии то поднимали клубы пыли, то шелестели в отаве, то шлепали в лужи, то оскользались на коровьих лепешках – но несли и несли тебя в некую, властно манящую, даль...

Ты подрастал, и вот уже вместо сандалий на твоих ногах были кеды, популярная обувь тех лет. В кедах – брезентовых ботинках с резиновой подошвой – ходили подростки, студенты, спортсмены, туристы и даже старушки: чуть ли не вся страна носила эту дешевую и удобную обувь. Правда, ремонту они почти не подлежали: надо было совсем уже впасть в нищету, чтоб зашивать драные кеды.

А шиповки, которые ты надевал непременно на босу ногу и в которых стопа становилась упругой и нервной, как будто подкованной? В шиповках нельзя было просто стоять или просто идти – нет, они понуждали бежать, рассыпая по выражу стадиона дробно-сухой перестук.

А сапоги-«болотники», неперенные спутники байдарочных сплавов по рекам – «болотники», без которых никак не пройти пережат-«шкуродер», не причалить к топкому берегу, да и просто не выйти к реке по росистому, в свежих кротовинах, лугу?

А легендарные кирзачи? Им вообще надо ставить памятник: ибо кирзовый сапог – это главная обувь России XX века. Солдаты, строители, эки, колхоз-

ники, пастухи и шоферы – то есть все, кого можно назвать мужиком, – все носили «кирзу». Я и сам, в стройотрядах студенчества, с ног не спускал эту очень удобную, ловкую обувь. В холод и сырость кирзовый сапог согревал – а в жару, как ни странно, ноге в нем бывало прохладно. А уж когда ты обносишь сапог по стопе – то он вообще начинает казаться частью твоего тела. Снимешь сапог – и как будто лишился какого-то нужного органа, стал неловок и беззащитен.

Вообще, и одежда, и обувь, которую ты, поносив, подогнал по себе, становится как бы твоей второй кожей. Это словно скульптурная форма: если тебя как-нибудь осторожно вынуть из брюк и рубахи, носков и ботинок – то, аккуратно залив в них какой-нибудь гипс, можно, в принципе, изготовить твоего двойника.

Я уж не говорю о том, что одежда и обувь вобрали так много тепла твоей жизни – впитали, в прямом и переносном смысле, так много твоих слез, пота и крови – что как можно легко, равнодушно и просто взять да и выбросить отслужившую, старую вещь? Нет, ремонт – в том числе и одежды, и обуви, – это наш долг пред самими собой, перед той частью жизни, в которой нам верным другом и спутником были, к примеру, вот эти штаны или ботинки.

В нашем личном стремлении к бессмертию – а оно, хотя бы отчасти, присуще всем людям – есть один важный момент. Если я предполагаю возможность бессмертия для себя самого, то я не могу не желать того же и людям, которых я знаю, люблю, среди которых живу, – и более того: я не могу не желать бессмертия миру, в котором родился и жил. Дело другое, что не всё сплошь из этого мира мы хотели бы взять с собой в вечность; но, в принципе, мы даже не можем помыслить возможности «изолированного» бессмертия: когда мы сохранимся, а все то, средь чего мы живем, – бесследно исчезнет. Между нашим стремлением туда, где длится «жизнь бесконечная», и стремлением продлить жизнь предметов, которые нас окружают, есть глубинная и обоюдная связь. Тот, кто легко, без малейшей заминки взял да и выбросил отслужившую вещь – тот словно и сам, пусть на микроскопически малую долю, убавил и собственный шанс на бессмертие.

Думаю, каждый испытывал чувство, что выбрасывать старую вещь – ту, к которой привык и с которой сроднился, – бывает порой неловко и даже стыдно. Недаром же, чтобы как-то смягчить эту неловкость (она и впрямь чем-то сродни угрызениям совести), мы сначала просто-напросто прячем отслужившую

вещь в дальний угол, потом выносим ее в гараж или ссылаем на дачу – тем самым отодвигая, смягчая момент неизбежной последней разлуки.

Иными словами, отношение к людям и к себе самому мы неосознанно переносим и на предметы, которые нас окружают. Жалеешь людей – пожалеешь и вещи; свет, исходящий из истинно доброго сердца, озаряет не только людей, зверей, птиц, но даже предметы бездушного мира, которые в этом свете людской доброты как бы согреваются и оживают.

И, с другой стороны: равнодушие, холод, небрежность к вещам, окружающим нас, есть симптом равнодушия к жизни в целом. Мне порой кажется: тот, кто легко может выбросить отслужившую, старую вещь – так же точно легко может выбросить и человека.

И вот тут надо с грустью признать, что из нашей теперешней жизни ремонт все стремительней и невозвратней уходит. Современное общество – «общество потребления» – не терпит ремонта в принципе и старается отовсюду, откуда возможно, его изгонять. Ныне ремонт, если он все же случается, обыкновенно сводится не к починке изделия, а к замене в нем неисправного блока.

Но современность явила нам и еще один феномен, возникший не так уж давно и, похоже, имеющий самые неутешительные последствия. Я имею в виду одноразовые предметы. Посмотрите вокруг: не говоря уж об одноразовых упаковках – пакетах, контейнерах, пластиковых бутылках, коробках – нас окружает и одноразовая посуда, и одноразовые вилки-ложки, и одноразовые полотенца и скатерти, зажигалки и авторучки – и еще много чего одноразового. Желаящие, как говорится, могут продлить этот перечень по своему усмотрению.

И если, например, в медицине такая одноразовость шприцев или скальпелей оправдана соображениями асептики, то целесообразность иной одноразовости по меньшей мере сомнительна. Неужели соображения мимолетного и сиюминутного удобства – надорвал упаковку, выпил-съел содержимое, тут же выбросил опустевший контейнер или бутылку – оправдывают и затраты на производство этих всех упаковок и тот вред, который они причиняют среде, окружающей нас?

Да и прочие вещи – одежда и обувь, машины и мебель, разнообразные бытовые устройства – становятся все более эфемерными: они тоже движутся к одноразовости. Срок службы предметов стремительно сокращается: одежда и обувь рассчитываются на сезон, автомобиль – года на три-четыре, мебель тоже недолго задерживается в нашем жили-

ще. Это не то, что, к примеру, на диво стачанные сапоги прежних лет, которые могли переходить от отцов к сыновьям, или, скажем, швейные машинки «Зингер», которые, купленные в приданое какой-нибудь рукодельнице, служили потом ее внучкам и правнучкам.

Вот-вот, кажется, эффект одноразовости, столь характерный для современности, распространится и на самого человека. Во всяком случае, выражение «одноразовый электорат» уже бытует в сфере политехнологий. Наша жизнь, окруженная одноразовыми вещами, становится и сама одноразовой, эфемерной – лишается некой тяжеловесной серьезности, укорененности в глубине бытия.

Поневоле с нежностью вспомнишь жизнь прежнюю – ту, в которой ремонт был важнейшей ее составляющей. В социологии есть даже термин «общество ремонта». «Общество ремонта» исторически и психологически противостоит тому «обществу потребления», в котором мы существуем сегодня. Конечно, в той, прежней жизни было немало и темного; но вспоминается отчего-то именно та теплота бытия, та нежность к старым вещам, которые рука не поднималась выбросить и которые после ремонта продолжали служить тебе верой и правдой. Одежда штопалась и перелицовывалась, обувь клеилась и прошивалась, техника – от трехколесного велосипеда до трактора – возрождалась порой из такого «убитого» состояния, что это напоминало воскрешение мертвых. И, как я прочитал в одной ученой статье, посвященной «обществу ремонта», выбросить пришедшую в негодность вещь было почти так же немислимо, как оставить раненого товарища.

Но, кроме ремонта вещей, есть еще и ремонт наших собственных тел. И эти ремонты у большинства из нас начались еще в детстве, в кабинете стоматолога. Кто не помнит сверкающий шланг бормашины – эту как бы змею, которая вот-вот ужалит тебя? И ведь жалила: под пронзительный вой зубо-врачебного агрегата – да и, случалось, под твой собственный вой. К тому же тогда, пятьдесят лет назад, и бормашины были какие-то, в сравнении с нынешними, «ветеринарные», да и анестезия была не в ходу: сверлили и дергали зубы все больше, что называется, наживую.

То, что в жизни есть место страданию, ты понял именно там и тогда: когда сердце сжималось от ужаса, потные руки судорожно цеплялись за собственные колени, когда челюсть чуть не вывихивалась от усилия раскрыть рот шире, а вспышки

боли, казалось, вот-вот разорвут твой трясущийся череп на части! Но зато и какой же покой нисходил на тебя, когда, после всей этой пытки, ты слышал слова стоматолога, обращенные к медсестре: «Приготовь мне фосфатцемент», – и понимал, что на сегодня твои мучения кончились, потому что сейчас начнут ставить пломбу.

Из зубоврачебного кабинета ты выходил обновленным. В глазах все искрилось от слез, и мир представлялся таким удивительно новым, как будто родился вот только что, в эту минуту – когда тебя, после муки зубного ремонта, опять допустили к нему. И как было приятно ощупывать языком свежечопиненный зуб, чувствуя гладкую, новую пломбу! В ощущении этом, правда, была и печаль – ведь ты оказался не так уж и молод, и крепок: коль скоро тебя, шестилетнего, приходилось чинить – но была вместе с тем и уверенность в том, что все в конце концов можно исправить. Ведь удалось же, хоть и не без мучений, так починить больной зуб, что он стал лучше прежнего?

Разрушение, что принесло тебе время, а потом опыт страдания и его преодоления, превращали тебя из ребенка в человека, уже искушенного и умудренного жизнью. Жизнь, можно сказать, уже в шесть лет изрядно тебя потрепала. И ты устоял перед этим, едва ли не первым, ее испытанием: ты не озлобился, не испугался, но только стал тише, печальнее, строже – поскольку вдруг понял, что жить это значит терпеть...

Годы шли, и ремонты ветшавшего тела становились серьезнее, чем починка зубов. Пришлось полежать и в больницах, и на операционном столе; и с годами я все отчетливее воспринимал свое тело именно как износившуюся, всю в заплатках и складках, одежду. Но не выбрасывать же ее: хоть она устарела и вышла из моды и уже как-то неловко в ней выйти на люди – раздеться, к примеру, на пляже в компании юных атлетов, – да и починка ее, этой старой одежды, занимает все больше нервов, времени, сил. Нет уж, буду донашивать ту одежонку, к которой привык, все швы, и рубцы, и заплатки которой мне так знакомы, – и буду, пока есть возможность, ставить новые латки на старую, истрепавшуюся основу...

Ремонт человеческих тел стал моей профессией. Ведь хирургия – это в основном штопка, починка, прочистка того, что в наших телах засорилось, испортилось или прохудилось. И работа хирурга не так уж и отличается от работы сапожника или портного. Что один, что другой вкальвают и продергивают иглы, вяжут узлы, выкраивают и подшивают

заплаты. Что один, что другой, бывает, в сердцах матерятся, когда что-то не ладится; но зато, сделав дело, они могут честно сказать, что их день прожит не зря.

Только хирургу в чем-то полегче, чем сапожнику или портному. Во-первых, его окружает команда помощников: ассистенты, медсестры, анестезиологи, санитарки. А во-вторых, если что-нибудь сделано неидеально – не так лег стежок, или ослаб узел, или случился еще какой-нибудь, как говорится, косяк, – то организм пациента будет сам, изо всех своих сил, пытаться исправить ошибку хирурга. Сосуды будут тромбироваться, грануляции разрастаться, рубцы будут закрывать язвы и стягивать края ран – словом, ремонт пациентом себя самого пойдет полным ходом.

Но если хирургией и вообще медициной – то есть профессиональным ремонтом человеческих тел – занимаются только медики, то косметическим ремонтом самих же себя занята лучшая часть человечества. Посмотрите на женщин – на то, как они, не жалея сил, денег, времени, наводят порядок в собственной внешности. Косметология – это великое множество средств и секретов, методик и способов, ухищрений, диет и приемов, которые позволяют женщинам выглядеть лучше, чем они есть. Что это, как не ремонт? Даже термины косметология применяет строительные: покраска, подтяжка, покрытие лаком, шлифовка.

Но отчего-то усилия женщины выглядеть лучше почти никогда и никто не считает обманом; напротив, в таком улучшении собственной внешности многим – и мне в том числе – видится некое даже движение к истине, выявление той женской сути, прекрасной и вечно влекущей, которая заключена в неизбежно стареющем, вянущем теле. Я куда больше готов восхищаться не юной, еще без намеков на увядание, красотой – но красотой, уже как бы вступившей в жестокую схватку со временем. Разве рекламно-глянцевая улыбка молодости, во все ее тридцать два ослепительных зуба, сравнится с печальной и мудрой улыбкой любившей, страдавшей, терпевшей и многое вынесшей женщины?

Поэтому то, что американцы называют *make up* – женский труд над собственной внешностью, – вызывает во мне лишь сочувствие и восхищение. Сколько грусти и красоты в лице женщины, что садится у зеркала, открывает коробочку с какой-нибудь мазью и, взглянув на свое отражение – непременно при этом вздохнув, – окунает подушечки пальцев в заветное снадобье, и начинает втирать его в лоб, подглазья и щеки... Во что она смотрит сейчас с та-

кой напряженной тревогой? Не в свою ли грядущую старость, черты и гримасы которой уже проступают в морщинах и складках ее пока почти молодого лица? И еще слава богу, если наша красавица замужем, если у нее есть, скажем, дочь, которой она передаст, как бы на сохранение, часть своей молодости и красоты. А если она одинока? Как непросто тогда ей дается такой ежедневный ремонт – эта горькая и обреченная схватка со временем...

Не в способности ли к саморемонту заключается и сама сущность жизни? Живое остается живым, пока само себя починяет, пока способно латать те прорехи и раны, что непрерывно наносит живому жестокий, его окружающий, мир.

Взять хоть простейших: ведь их жизнь состоит в размножении, в поисках пищи – и в постоянном ремонте самих же себя. Раны их оболочек затягиваются, вакуоли переваривают занозы, вонзившиеся в какую-нибудь амебу, а непереваренные остатки выбрасываются наружу – точь-в-точь как строительный мусор, который мы с вами выносим во время ремонта квартиры. Все, что живет – и куда живет, – само себя чинит, латает и штопает; стоит прервать непрерывное усилие самовосстановления – как начинается неудержимое скольжение к смерти. Мы только что помянули амебу; но и любая живая структура подвержена тем же всеобщим законам ремонта. Взять хоть отдельного человека, хоть город, хоть целое государство – чем все они заняты, как не бесконечным ремонтом?

Пройдитесь по городу, где вы живете, и посмотрите, чем живет он. Вы увидите строительные леса и разрытые теплотрассы, дорожных теток в оранжевых куртках возле дымящихся гор асфальта (правда, родных наших теток сменили теперь азиаты), увидите штукатуров и дворников, аварийщиков и полицейских – вы увидите многое, говорящее о непрерывном усилии городского ремонта. А если вы не увидите этого – значит, с городом вашим что-то не то, значит, в нем недостаточно сил и энергии, чтоб защищать себя от непрерывного и неизбежного самораспада.

А если взять целое государство – тот же, в сущности, город, лишь очень разросшийся, – то и в нем мы увидим все то же самое. Укрепление границ и дорог, наведение мостов, орошение и осушение земель, сбор отходов, тушение пожаров – что это, как не стремление удержать хоть какой-то порядок и не допустить наступления «мерзости запустения»?

Но скажем и самое, может быть, главное: ремонт и нас, и всего бытия занят Отец наш небесный.

Казалось бы: если мир, сотворенный Им, оказался испорчен, то не лучше ли весь этот падший мир уничтожить и взамен его создать новый? Но отчего-то Господь, при Его всемогуществе, не устраняет испорченный мир, а идет на великую жертву, чтобы его «починить»: Он посылает к нам, людям, любимого Сына, посылает на муки и смерть – и все ради того, чтоб исправить людскую природу.

Христианство, в лоне которого мы рождены и в свете которого существуем, направлено именно на ремонт человеческих душ, на заживление ран, нанесенных грехом, и на восстановление целокупного, богоподобного существа человека. В этом смысле любой христианский храм – мастерская, где идет кропотливый ремонт человека. Не отбросить негодное, падшее – а исцелить и утешить, исправить и поддержать: вот в чем задача «ремонтных» работ, составляющих суть христианства. *Deus conservat omnia* – «Бог сохраняет все» – как отличается этот христианский девиз от привычек и устремлений современной нам с вами, все более «одноразовой», жизни!

Не забудем и то, что в конце времен, когда труба позовет всех на Суд – когда случится то самое «воскресение мертвых», о котором христиане молятся на литургии, произнося «Символ веры», – тогда совершится и самый последний «ремонт»: произойдет очищение существа человека от всего временно-несовершенного, темно-греховного, ото всего, что нас отделяло от Бога. Но теперь, находясь в состоянии «неисправном» и падшем, нам трудно даже представить масштаб предстоящих – уже за пределами этого мира – «ремонтных» работ.

Уверены мы с вами можем быть только в одном: раз Господь до сих пор не выбросил нас с вами на свалку – не исторг «во тьму внешнюю», раз Он не оставил попыток нас, грешных, исправить, – то негоже и нам прерывать бесконечный ремонт, составляющий суть нашей жизни. Ведь всякий ремонт – даже если это всего лишь починка штанов – хоть на малую и незаметную долю, но приобщает нас к божьему замыслу по сохранению и преображению целого мира.

